



**ЮРИЙ ТЫНЯНОВ**  
**ПУШКИН. КЮХЛЯ**

Юрий Тынянов

**Пушкин. Кюхля**

«Public Domain»

**Тынянов Ю. Н.**

Пушкин. Кюхля / Ю. Н. Тынянов — «Public Domain»,

ISBN 5-17-024161-5

«Пушкин» и «Кюхля». Жемчужины творчества Юрия Тынянова. Перед читателем раскрываются образы величайшего русского поэта и его товарищей по Царскосельскому лицей, оживают "золотой век" отечественной литературы и противоречивая эпоха декабристов – людей, которых потом назвали цветом русской интеллигенции... Возможно, все было по-другому. Но когда читаешь Тынянова, хочется верить, что все было именно так.

ISBN 5-17-024161-5

© Тынянов Ю. Н.

© Public Domain

## Содержание

Пушкин	5
Часть первая	5
Глава первая	5
1	5
2	6
3	7
4	8
5	11
6	15
7	21
8	21
Глава вторая	23
1	23
2	25
3	26
4	28
5	29
6	30
Глава третья	32
1	32
2	34
3	36
Глава четвертая	38
1	38
2	40
3	41
4	42
5	43
6	44
7	45
8	46
9	47
10	47
11	48
Глава пятая	48
1	48
2	50
3	52
4	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Юрий Тынянов

## Пушкин. Кюхля

### Пушкин

#### Часть первая Детство

#### Глава первая

##### 1

Маиор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

– Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

– Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, маиор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Маиор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и – грязь. Дождя давно не было, а грязь все лежала – комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю – местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот маиор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких ворот и добрался до Охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну «Сен-Пере» и две «Лафита», он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

– Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну конечно, не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутошника спроси.

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

## 2

Гвардии майор, или, вернее, – капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя: гвардии майор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул борей» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем в кригс-комиссариатском сертуке, майор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку, так же как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единородный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единородного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала – не без яду, – что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял – ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *бельэспри*,<sup>1</sup> Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романсы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литературская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? – Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапою.

Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей отец бросил ее с матерью в самых ранних годах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядя, генерал-цейхмейстер Аннибал, владевший прекрасным именем Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат

---

<sup>1</sup> Остроумец (от фр. *bel esprit*).

Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, арап, тоже не был камердинером, а скорее всего другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла маиору небольшое сельцо в Псковской губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия – он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки; притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное, он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрино, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью – он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина – и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил – они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая с канарейкой, но образ жизни круто переменялся. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить куртаг,<sup>2</sup> как говорили гвардейцы, – скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

### 3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятю родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убрали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, недалеко от которого была усадьба ее отца и в котором она жила барышнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен – горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц – купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тон-

---

<sup>2</sup> Прием (от нем. Courtag).

ких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и переехала с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж – хоть и злодей – морской артиллерист, и она чувствовала себя военною дамою. Житье было походное: зорю бьют – вставать, горнист – к обеду. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них – для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятево хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня невелика, но распущена и отбилась от рук. Повар Николашка – пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни – испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ – легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод; равнодушные и лень, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом – вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

– Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

#### 4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизанька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизанька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя; Марья Алексеевна

делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их майор, – не бегаёт со двора. Не франтоват, да мил – ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде – а-ля Каракалла. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет (далеко за тридцать – говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нарасспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны, безделки и ничего боле. Перышки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

– Вздоры, – говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости – эфемер, – явился на этот раз во всем великолепии: прическа а-ля Дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру – Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которою он тщеславился более, чем своим титулом поэта, своею родословною, коляскою, – неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему.

– Mon ange,<sup>3</sup> mon ange, – пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, – покройте плечи, ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, щурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное, и в гвардии ее звали «Цырцея», но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо – зелено, погулять велено», – говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

– Надежда сейчас выйдет, – сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадам Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт.

Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пиесе своей собственной – прекрасно, – граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, ривалите,<sup>4</sup> и из армии приезжает добрый муж, сам граф, – все захлопали, когда он вышел, – и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы

---

<sup>3</sup> Мой ангел (фр.).

<sup>4</sup> Соперничество (от фр. rivalite).

в легких нарядах исполнили девки неопишимо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, – след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебежал с белых плеч своей Цырцеи на смуглые – невестки.

Он все хотел сказать комплимент и наконец сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных – таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощей.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казненного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла, или, как говорили военные, – на хлебах.

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки.<sup>5</sup> Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

– Хаханьки! – и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

– Как щегольство сейчас не в милости, – сказал он тихо, – я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

– Никишка, – сказал он торопливо, – вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай.

Он заботливо обдернул кружевные манжетки на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

– Балладу не забыл? Всю помнишь?

– Помню-с, – ответил камердинер Никита, – своего, чай, сочинения, не чужого.

Камердинер Никита был сочинитель; недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитою. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике

<sup>5</sup> В дурочки (от фр. la bcte).

и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

## 5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятной беседой. Под липою, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лег десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых желтых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды – все вдруг вспомнили это, как утраченное детство и как бы впервые открыв существование природы. Даже участь мешанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке в бурачке розовый бальзамин – как старые поэты не замечали прелести такого существования! Они пристрастились к войне, пожарам природы и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливывы, потому что грубые краски напоминали все, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как угол перед камином зимою, был для всех приятным местом, вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу *jeux de societe*<sup>6</sup> – игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акростихи, что даже развивало стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марию Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«...И ряд зубов жемчужный», – подумал чьими-то стихами Василий Львович, – у Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше.

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом – полное снисхождение к женскому полу – он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камердинеры да *les outchiteli*. Некоторые из них были забавны. Теперь же благодаря перевороту прибыли, спасаясь, люди настоящего благородства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним попривыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутаны. Царь в последнее время стал скупиться и упрячиться, и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф, собственно, собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется – живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по неко-

---

<sup>6</sup> Салонные игры (фр.).

торым признакам, заключил, что граф будет просить займы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года – возраст угасания.

Время нравиться прошло,  
А пленяться, не пленяя,  
И пылать, не воспаляя,  
Есть дурное ремесло.

Морщин еще не было, но на лице, удлинённом, белом, появился у него холод. Несмотря на шутливость, несмотря на ласковость к щекотуньям, как называл он молоденьких, – видно было, что он многое изведал. Мир разрушался; везде в России – уродства, горшие порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзьям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Все – не что иное, как безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капралами, нимало не разумевшими изящного.

И его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: мои нижегородские друзья – у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде, в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (а la jacobin<sup>7</sup>) и фраки, но женщины уцелели – и высокая талия перенята у вольных французенок. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем жил и на что надеялся все эти дни, – о поездке в Карльсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карльсбаде.

– Боже, – сказал он, – представляю себе счастливый климат Хиби, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные деревья, и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простоудишу и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе. И если бы за него предложили десять

---

<sup>7</sup> Наподобие якобинских (фр.).

или пятнадцать тысяч, – Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхолью, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились *petis jeux*,<sup>8</sup> играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: *pouveaute – repeter*,<sup>9</sup> *avis – esprit*.<sup>10</sup>

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василья Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все невольно захлопали его катреню.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, отневив выпуклости рук и ног, мелко завив волоса и означив ямки на щеках.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,  
Там труда для сердца мало;  
Там любви и не бывало;  
Там любовь – одни слова,

на глазную повязку —

Любовь слепа для света  
И, кроме своего  
Бесценного предмета,  
Не видит ничего

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

Награда скромности готова:  
Будь счастлив – но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стороне, у известной сводни Панкратьевны, – он любил простонародный тон в любви, – но при всем этом старался соблюсти самую строгую тайну и был скромн. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

---

<sup>8</sup> Игры (фр.).

<sup>9</sup> Новшество – повторять (фр.).

<sup>10</sup> Мнение – разум (фр.)

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие, высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

– Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокоchущий на «р». Сергей Львович слушал, скосив глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!  
С розы на розу в весельи летай!

Николай Михайлович был растроган до слез. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

– Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, – сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал ведро. Сестрица Аннет сказала:

– Ну в точности Оссиан!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну – Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей – поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных ворот, вокруг домика садик – все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды.

Все, как по уговору, стали чокаются с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

– Друзья, – сказал Карамзин, – Гораций прославил Тиволи, а я пью за Красные ворота и за Самарову гору!

Самарову гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы он в особенности любил, здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил – если не удастся за границу – здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан-Жака.

И после этой легкой грусти захотелось простодушия.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы – старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался.

Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

Погас, пустил приятный  
Вкруг запах ты...

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

– Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, – тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем.

– Вы старый бриган, разбойник с галеры, – сказал он ему.

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» – было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые он даже был неспособен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени – самый сладостный для поэта упрек, – напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он побоялся. В шкапу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубости или похабства – их он хранил только потому, что редки, – но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымящей и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже: «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петька зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье:

– Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромычала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

– Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамыч Аннибал.

## 6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленый допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

– Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... – Он метнул глазами по гостям. – А как я здесь проездом, долгом почел, – он поклонился Марье Алексеевне, – вас,

сударыня сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, – отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, – а внука своего... поглядеть и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

– Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако ж, оказался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицею из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счета; по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоеженец брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с жениной роднею в присутствии лиц, мнением которых дорожил. *La belle creole*<sup>11</sup> была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа-дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил, в сущности, сегодняшний куртаг, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

– Может статья, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

---

<sup>11</sup> Прекрасная креолка (фр.)

– Что ж, садись, Петр Абрамыч.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

– Благодарю, сударыня сестрица, – сказал он нежно, и женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

Надежда Осиповна подошла к дяде.

– Какая стала, – сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. – От отца зов, приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, – отнесся он к Сергею Львовичу. – Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал: старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем – быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

– Тоже, посол явился, – и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович попробовал вкус водки.

– Я, сударыня сестрица, – сказал он Марье Алексеевне, – настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо; внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлобья комнату.

– Флигель теплый ли? – спросил он и, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке: – Как нарекли?

Он был скор в переходах.

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

– Великолепное имя, – сказал он. – Два величайших полководца, сударыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич – Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

– Имя дано более по фамильной памяти, – сказал неохотно Сергей Львович, – по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он – прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, – добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлобья и выпил рюмку полынной.

– Не припомню, сударь, – сказал он, – деда вашего, не знал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, – отрывисто и нелюбезно.

– Ан нет, – сказал он вдруг с хрипотой, – и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал – Александр Петрович. Жену не у него ли, сударыня сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, – решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам и по сухости, верткости действительно старик напомнил какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно – видно, что это было ему в привычку.

– Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, – сказал он с достоинством, – и точно ездил, а путешественником николи не был. А теперь, как открылась дальняя война, на чужой кошт, то беспрерывно буду проситься в дальные края... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться – он был автор «Писем русского путешественника», – и если б можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

– Что так захотелось, – спросила она, – в дальние-то края? Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не выдав, и даже более, чем свою разлучницу.

– Я, сударыня сестрица, – сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, – тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

– Какого это княжества? – опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

– Арапского, – терпеливо сказал генерал-майор и метнул глазками в Карамзина, – в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество по всему быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

– Не слыхивала, – сказала Марья Алексеевна, – про губернатора. Что ж, Петинька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел, ни братцы?

– Я, сударыня сестрица, занят был, – сказал Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, – на государственной службе был занят, – повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, – и не мог тятенькина княжества сыскать. То же и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба арапа была презанимательная.

– Жизнь батюшки вашего необыкновенна, – сказал он учтиво. – Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину.

– У меня, сударь, ничего нет, – сказал он опасливо, – да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-майора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

– Правда ли, Кутайсов уезжает?

«Уезжает» означало – впадает в немилость.

Кутайсов был пленный турка, дареный цирюльник, а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

– Напротив того, – отвечал с удовольствием Сонцев, – кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.

Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

– Кутайсов, – сказал он сипло, – камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

– Батюшка мой, – сказал брыкливо старик, – сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагляден и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью.

Он пил теперь непрерывно – стакан за стаканом, и бутылка с настойкою пустела.

– Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

– Жадный, – сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

– Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, – сказал он невестке, – а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем – прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:

– Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуази<sup>12</sup> у него было поболее, чем у вас, Петинька. Он *улыбаться* умел, – сказала она значительно.

Петр Абрамович загляделся на невестку.

– Эх, сердце золотое, – сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

– Лучше, лучше был, и зубы белее, – махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли?

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы майоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою репутацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца аптекаря прочли ее и вытвердили.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подзорной морской трубой

---

<sup>12</sup> Учтивости (от фр. *courtoisie*).

знамена, а надо всем – сова – ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

Император Петр, – говорилось в рефутации, – желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат – Neger,<sup>13</sup> Mohren<sup>14</sup> – употребляли все дворы как рабов, – писал немец, – а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример – полагал император – лучше запомнится всей знати – Ritterschaft und Adel,<sup>15</sup> – которая ленилась и Петру противилась. О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим – или же Авраам – был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.

Он совершенно разочаровал Карамзина.

Знаменитый арап был креатурой императора – чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.

К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера.

Теперь генерал-майор был вполне пьян.

– Как звать? – спросил он отрывисто Никиту.

– Никитой, сударь.

– Ты, Никишка, плох, – сказал генерал-майор, – вот у меня Гришка мой с гусяром поет – в масть и цвет! В дрожь приводит! Слезы! Сердце золотое! А ты – слова в нос произносишь. Ты плох.

Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.

Самарова гора, приют друзей сердца, московский английский home,<sup>16</sup> сельское одиночество – все разом пропало.

Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры – не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик – разрушили все милые обманы.

Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего двора, будущность была темна для Карамзина.

Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить займы.

Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.

Всю жизнь старался быть как все и чтоб все было как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бюрлескный<sup>17</sup> тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.

Старый арап поднялся – и вдруг двинулся к лестнице – к антресолям.

– Мне внука поглядеть, – бормотал он, – и ничего боле. Внук-ат, он где?

Марья Алексеевна загородила ему дорогу.

– Не пущу, – сказала она со страхом и злостью. – Спит ребенок, не прибрано.

Арап отступил.

Глазки его тускло посмотрели на невестку.

– Деда? – прохрипел он. – Дядю? Крестик привез! От деда.

---

<sup>13</sup> Негров (нем.).

<sup>14</sup> Мавров (нем.).

<sup>15</sup> Рыцарству и дворянству (нем.)

<sup>16</sup> Домашний очаг (англ.).

<sup>17</sup> Шутовской, смехотворный (от фр. burlesque).

Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.

Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца – и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку – он отскочил от нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.

Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.

Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.

Тогда Марья Алексеевна отступилась.

Она села у камина и отвела глаза.

– Внука, – сказала она, – тоже, дед нашелся...

И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, – как тогда в молодости, когда ирод ее тиранил.

## 7

Гости не знали, оставаться или уходить.

Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы шурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.

Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.

Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.

Но и на самом деле ни спора, ни ссоры, в сущности, не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный для Марьи Алексеевны шум, свара, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.

Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.

– Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна – сказала Елизавета Львовна, – стоит ли тревожить себя, душенька!

Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.

Аннет сжала украдкой руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.

## 8

Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них гляделась луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были *пустодамы*.

Маленькая девочка присела перед арапом.

– Это кто? – спросил он изумленный.

– Ольга Сергеевна, батюшка, – сказала нянька, кланяясь. – Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.

Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.

– Здравствуй, – сказал арап, – как звать?

В детской он присмирел, винные пары рассеивались.

– Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.

Арина говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.

– Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.

Сергей Львович подоспел.

Арап наклонился над ребенком.

– Тише, mon oncle,<sup>18</sup> – сказала глухо Надежда Осиповна, – спит.

– Не спит, – сказал арап.

Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного.

Арап всматривался в него.

– Белобрыс, – сказал он.

Он посмотрел еще.

– Кулер белесоватый.

Ребенок задвигался, смотря мимо всех.

– Расцелуйте его в прах! – закричал арап. – Честное аннибалское слово – львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!

Сергей Львович выступил. Пьяный арап распорядился у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик «Пади!» и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.

Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонок его сына.

– Милостивый государь, – сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, – не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца... отцу... Смею думать, сын мой не... львенок... и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, – когда оно хорошее, – добавил он строго, – но согласитесь, что сын мой... что отец, как я...

Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.

Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.

Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.

– Уронишь, – сказала она, отстраняя старика рукой, – прочь от ребенка, ироды.

Она стала качать мальчика, который наконец заплакал.

Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение – схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке.

– Как я... как ты! – захрипел он, и было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке. – Ты кто таков? Ты, сударь, – фьють!.. – свистнул он. – Свистун ты! А я – Аннибал. Вот мое племя!

Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.

Сергей Львович побледнел.

– Не кричите, mon oncle, – сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, – спит ребенок. Я кричать не позволю.

– На девку свою кричи, – тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.

---

<sup>18</sup> Дядя (фр.).

Арап попятился.

Губы у него прыгали и не находили слова.

– Пушкиных... забываю! – закричал он, сжав кулачки. – Прах отрясаю! – Он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице.

Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.

Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносим; шмыгнула носом и прошла, трясая головой, куда-то.

Сергей Львович, все еще бледный, выпятив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гостей не было.

Марья Алексеевна присела у окошка.

– Тоже, посол явился, – сказала она негромко, – дед.

Она трудно дышала. Голова ее качалась.

Генерал-майор шествовал через двор стремительно, неверными шагами.

Колымага ждала его.

– Дед, вишь, – сказала Марья Алексеевна, – сам еле ноги волочит. Горе мое!

А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.

– Я готов всем жертвовать спокойствию, – говорил он, положив руку на сердце, – готов все стерпеть, и не в моем характере, друг мой... Но уж если меня затронут, и притом – где? – в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим... *vieux raifort*.<sup>19</sup>

Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел.

Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благородное негодование и вслушалась.

– Подите вон, – сказала она глухо.

И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты.

Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял, за что.

– Выгнали дядю-то, – говорила шепотом в людской Арина, – надо быть, больше не придет. Все кричал: мы, Аннибаловы! Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд острый – беда!

– Пьяный приехал, – объяснял Никита, – характер у них непереносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!

## Глава вторая

### 1

Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург – продавать свой домик в Измайловском полку («дворня все в пустоту приведет – знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность – он любил дорогу.

---

<sup>19</sup> Старым хреном (фр.).

Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.

Недолго думая Пушкины переехали всей семьей в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и теще устроиться на новом месте.

Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слез, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.

Ничуть не бывало.

Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье – и только через минуту улыбнулся долгой, бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почерневшей от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой – тесть с утра кушал водку.

Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почерневшее от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость – «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошелками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.

– Как хороши, – сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы – зубами.

Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, с двигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со стразовыми пуговками, был засален.

В последний день он повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений, три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка, и странное довольство тишиною тестевых владений.

– Как море, – сказал он тестю, глядя на озеро.

Он никогда не видел моря. Арап посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.

– Все вам оставляю.

Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкой. Господский дом, который по рассказам Марьи Алексеевны был велик и хорош, – крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник – и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно – и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные, бледные льны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.

– Хороший нынче урожай, – сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.

В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и видимо угасает, усадьба же запущена.

Теперь настала зима, а они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.

Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором.

Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.

## 2

Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, – о всех предметах, попадавших навстречу.

– Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеевич, какой солдат... Шапочка медная... на солнце блестит... а под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастете и сами такую наденете.

Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на преображенском солдате, шедшем по улице.

– А вот, батюшка Александр Сергеевич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапону-то на уши да покрепче нахлобучьте, мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки. Да.

Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.

– Тетка, – сказал один негромко, когда нянька поравнялась, – по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?

– Без вас, без охальников, обойдуся, – сказала ровно Арина.

Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.

– Ай-ай, какие лошадушки – на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, – пела Арина, – и шапочки бахарские, а ребяташки бородатые.

Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.

– Ай-ай, какой дяденька генерал едут. Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звоночком позванивает, и уздечку подергивает.

Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.

– Сердится дяденька, вишь как сердится.

И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.

– Шапку, – сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.

Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.

– Пади!

– На колени!

– Картуз! Дура!

Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.

Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.

Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку.

Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.

– Ду-ура, – сказал он, прижимая обе руки к груди. – Ведь это император! Дура!

– Охти, тошно мне, – сказала Арина, – он и есть.

Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедленно скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.

Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув:

– Снять картуз! Я вас! – вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра – и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.

– Первая встреча моего сына с сувереном, – сказал он с поклоном и развел руками.

Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебраться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить: Петербург и Москва.

### 3

Через месяц после того как Сергей Львович спасся с семьей в Москву и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, – произошла смерть императора Павла.

Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро – чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почтой. Потом стали приходить подробности, и все оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душой Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обер-шталмейстер! Москва стремилась в несколько дней наверстать великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли непрерывно.

Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная.

– На охоту ездить – собак кормить.

Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, шурясь, оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.

На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.

Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.

Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, все перепуталось – и старая знать, и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два прираста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.

Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в Охотный ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабры, в глаз – томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принимались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.

Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько утомилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же удрать такую дичь – переехать со всею семьею (и не без трудностей – сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось, он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.

Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.

Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет – невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:

– Никогда и не думал. Приснилось ей.

Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же втихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку – вполне невинная шалость.

В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:

Мне моркотно, молоденьке,  
Нигде места не найду.

К обеду или к вечеру, если обедал не дома – домашние обеды были довольно скаредные, – он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, *bon-mots*<sup>20</sup> и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе, в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, все по тому же проклятому комиссариатскому штату, еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, веньтэнь, макао и новомодные: штос, три и три. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.

#### 4

Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьей к матушке Ольге Васильевне, которая жила в Огородной слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.

В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.

Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, заслышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползло со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:

– Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.

<sup>20</sup> Остроты (фр.)

Законным царем она считала Петра III и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:

– И матушка и бабушка!

Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет! Это все кончилось. Сыновья – прыгуны.

Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазами всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала, как старшего в семье, и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит. О Сергее Львовиче она думала, что просвищется, и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.

– Что им в комнатах шуметь!

Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями: говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их:

– Се *coquin de*<sup>21</sup> Кочубей, – говорил он.

Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе.

– Аристократия его фальшивая, – сказал он, – а сам он батард,<sup>22</sup> знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульливая полька, продалась французам – вот и все.

Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норвил в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.

Старуха щурила на него глаза. Она была побеждена.

Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке:

– Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у наибольшего ихнего – как зовут, не упомяну, – тоже арапка в женах.

А Ульяшка ей поддакивала:

– Все как один – нового захотели, свежинки

## 5

Они жили теперь в порядочном деревянном доме, Юсуповском, рядом с домом самого князя, большого туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд, видел, как суетился камердинер, открывали окна, несли вещи, и вслед за тем грузный человек с толстыми губами и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то раз заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на

---

<sup>21</sup> Этот мошенник (фр.).

<sup>22</sup> Незаконнорожденный (от фр. *batard*).

самый европейский манер. Вслед за тем он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду, когда захотят. Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал.

А управитель был в отчаянии от жильцов.

«Маиор господин Пушкин, – писал он в отчете князю, – что в среднем доме, как вперед в мае месяце за месяц уплатил, так почитай уже с полгода ничего не платит, и я трижды заходил, прося уплатить, то велят говорить, что дома нет. И я, вашего сиятельства покорный слуга, прошу мне прислать указ, каково мне именно говорить с маиором Пушкиным или совсем от квартиры отказать».

Между тем у Сергея Львовича случилось горе: скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла.

Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший и более просторный дом неподалеку.

У Надежды Осиповны блестели глаза: она любила переезды. Управитель сам помогал возчикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.

## 6

Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задами и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображения. Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад, пространством более чем на десятину.

Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость; неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в большей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный Западом москвич шел по версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особою стройною походкой вокруг круглого пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в ней выпуклой, и, спустясь через час все той же походкой к себе в Огородники, он некоторое время воображал себя прекрасным и только потом, заслышав: «Пирог! Пирог!» или повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль и он не француз.

Сад был открыт для няньки Арины с барчуками.

Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтоб барчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду.

– И не шелохнется, – говорила она, – в такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая.

Барчук не хотел смотреть на рыбу, он исподлобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это – Диана, а в другой раз, что это – нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит.

– Тыфу! – огорчалась Арина и тихонько сплевывала. – Может, батюшка, побегаете округ пруда?

Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана сырым желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода.

– Что твоя мельница, – говорила, улыбаясь, Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным.

– Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич, – говорила она таинственно, – всегда любят, чтоб вода вот так в саду текла.

Он убежал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу.

Он убежал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками, мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убежал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался – начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине.

Лето было удушливое; Москва, как Самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутемным комнатам: днем запирались ставни.

Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповом саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже самую жару.

Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали. Арина проснулась. Бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд.

Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение. Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался. Глубоко, протяжно дышала Арина, словно пела. Потом послышались за дверью босые тяжелые шаги, словно шел крупный зверь: мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издали, она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул.

Пять дней в Москве стоял густой туман, и люди натыкались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть, как достопримечательность. На Трубе оказалась яма в аршин шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит.

– Только что Николашке наказала пастет запекать, – села, вижу: стол, как студень, ходит, – говорила она, сама сомневаясь.

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гаданья. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала по вечерам, не торопясь.

Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение – явление мира физического. Но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага,

Сицилии, особенно Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, – как в Москве гроза летом. Тут же он некстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василии Темном, когда Москва сгорела дотла.

Физическое же объяснение еще более напугало и Марью Алексеевну и Надежду Осиповну: что это огонь теснит воздушные массы, заключенные, как в тюрьме, в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение – эхо другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою, в которых свирепствует воспаленный воздух. И что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время! Таково было местоположение всех городов на земле, в том числе и Москвы, с Неглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал, может пройти и три с половиной века до нового землетрясения – как от Василия Темного прошло, – а стало быть, на их жизнь хватит.

Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подожгут, что Николашка сегодня смотрел, как бриган с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня – разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал.

На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона. Сергей Львович приказал отодрать его и лично распорядился в конюшне наказанием.

Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.

## Глава третья

### 1

Сестрица Аннет не вышла замуж, матушка скончалась, произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василья Львовича, все в том же году. Жена покинула его, они разъехались.

Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, разъезжали непрерывно от Василья Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожее.

Василий Львович был растерян и потирал лоб.

Дважды при посторонних начинал рыдать; ему оказывали помощь, он тотчас охотно, долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии или недоумении.

Все рушилось.

– Первый раз в жизни случается, – говорил он простодушно.

Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны забыто и изгнано; она звалась: злодейка. Когда заходила о ней речь, Анна Львовна шикала и высылала вон детей, а Сергей Львович щурился значительно.

Из объяснений Василья Львовича, ахов, охов, всплесков, восклицаний и лепета – ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний: много ел, завивался и даже между слез сказал экспромт.

– Душа моя, душенька Basile, припомни, с чего началось, – просила его сестрица Анна Львовна.

И Василий Львович припомнил. Участились посещения кавалергарда князя В. – Василий Львович так и сказал: князя В., prince Double W. Он заподозрил, стал увещевать, увещевал – и

однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить ничем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается даже замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж.

Сергей Львович отрывисто сказал:

– Имя.

Он требовал имени соблазнителя.

На вопрос Василия Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно:

– Для дуэли.

Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался назвать имя.

Он не уверен, точно ли это князь В., сказал он. Может быть, князь В. был лишь для отводу глаз, подставное лицо. Хотя он однажды, точно, тьютировал ее, говорил ей: ты, но все остальное неизвестно.

– Он ее тьютировал? – медленно спросила Анна Львовна, – в твоём присутствии?

– Да, но он кузен, – ответил Василий Львович с блуждающим взглядом.

– *Le cousinage est un dangereux voisinage*,<sup>23</sup> – пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прелата.

– Он-то, может, мой дружок, ее только тьютировал, но она-то – вспомни, душа моя, – она-то, может статься, строила куры?

В присутствии Василия Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла золовку злодейкой и говорила просто: она.

Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка, или, как Анна Львовна ее называла, Анка, ходила тихонько, с заплаканными глазами, с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна выслала ее вон, причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом.

Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет; что, не зная в подлинности дела, он желает одного: чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает; напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно; что он муж и христианин и готов на все.

Сергей Львович был глубоко тронут.

– Мой ангел, – сказала Аннет.

Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин. Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фрак и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам, в первый раз после происшествия.

Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорною в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили повидаться с преступницей и увещевать.

Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре, на соломе, и питаться ардами...

– Акридами, – поправил Сергей Львович.

... чем вернуться в этот дом.

Потом Надежда Осиповна пошептала с сестрицей Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками.

– Если вы, Nadine, можете верить злодейке, – сказала она, – бойтесь за себя!

И брат с сестрой тотчас же поехали к Василию Львовичу.

В Василье Львовиче в этот вечер они застали разительную перемену: он опять малодушествовал, бегал по комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал

<sup>23</sup> Родство – опасное соседство (фр.).

Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного – как сиделку. Послано за доктором.

Доктор объявил жизнь Василья Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал.

Он рассказал, что к нему явился посланец от Капитолины Михайловны или, может быть, от князя В. – он не желает об этом знать – и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна sprysнула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он взвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрепив все своею подписью.

– Аннушка, выдь, – сказала строго Анна Львовна. – Но, мой дружок, душенька Базиль, как же вы написали такое?

– В полном беспамятстве, – сказал, разведя руками, Василий Львович.

Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью:

– Развода нет и не будет – в наказанье, – суда не боюсь, милостивая государыня, и еще увидим!

## 2

К Капитолине Михайловне послан для переговоров Сонцев. Матвей Михайлович вернулся, пыхтя, и сказал, что сам поверить своим глазам не может: ему показывали письмо, и в письме рукою Василья Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своею крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним супруги его и дает ей полную мочь делать что хочет и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно.

Василий Львович сказал, морщась:

– Не помню. Полнейшее забытье и беспамятство. И вовсе не похоже на правду. Ничего не помню.

Он было застонал, но уже гораздо легче, чем в первый раз, и вскоре натура взяла свое – на завтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры.

Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствоет с некоей горничной Анкой.

Даже толстяк Сонцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда речь зашла о Василье Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал, что у Василья Львовича всегда была эта народная русская фибра, жилка, Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас попросила его замолчать.

Василью Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он нимало не виноват, но приятели, лстя его самолюбию, называли его селадомом, фоблазом и усмехались.

Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе, и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютюировать – говорить ему ты, попросту тыкать – люди, с которыми он вовсе не был короток.

Слава петербургского бригаана с галеры была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому, так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе неуместна: Василью Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ; он не хотел званья какого-то фоблаза и, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства.

Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами.

Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Васильем Львовичем в долгу: только за год до того Василий Львович сработал для глухого тестева издания «Приношение религии» два вполне приличных духовных стихотворения: «О ты, носившая меня в своей утробе» и о «жене, грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное и, начинаясь описанием этой блудной жены:

Жена, грехами отягченна,  
К владыке своему течет бледна, смущенна, —

кончалось ее полным прощением.

Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне.

Но дурак тесть его не принял.

Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему: важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получаса, молокососы все более набивались в друзья.

Наконец он увидел себя сказкою всего города.

Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд.

Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему трудней день ото дня. Даже сестрица Аннет, девотка, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василья Львовича, а Сергей Львович решительно отстранился: пожимал плечами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим, а с братом стал разговаривать отрывисто.

Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грекура о служанке, в неизвестном переводе: «Пусть, кто хочет, строит куры всем прелестницам двора, для моей нужно натуры, чтоб от утра до утра, забывая ночь ненастну, целовать служанку прекрасну». Василий Львович обомлел.

Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было дело рук юных негодяев, набивавшихся в друзья, а чтобы не возбудить подозрений, они дали дитяти переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший: «Лобызать служанку страстну» – и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки.

Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по петербургской «галере», родственник и однофамилец, Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду, как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать: «бывшие Пушкины». Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминал отца. Более того – эту неосновательность он возвел в закон и правило. Он проповедовал в гостиных афеизм – что все в жизни есть одно воображение, туман и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное.

Встречаясь с Васильем Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами, вместе с тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди, крепко целовал, потом строго смотрел в глаза ошалевшему Василью Львовичу и говорил, содрогаясь:

– О, все тот же! Шалопут! Соблазнитель! – и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновенья.

Духовные стихи Василья Львовича, изготовленные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Васильем Львовичем и отозвавшись о стихах с горячею похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону, а *parte*:

– Тартюф!

Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном, но, после того как развод его огласился, от афеиста-кузена не стало житья. Он громко вздыхал, завидя Василья Львовича в обществе, и сурово грозил ему пальцем. Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена.

Скандалная слава ему прискучила. Самолюбие его было пресыщено.

### 3

Василий Львович всем объявил, что едет в Париж.

Кто из приятелей верил, кто не верил; но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василья Львовича. Юные бездельники-друзья ставили на него куши – поедет или останется?

На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику:

– Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?

Василий Львович притворился, что не слышит, сердце его с приятностью замерло, он оклабился – что ни говори, это была слава.

– Невидный, – сказал князь, – что ему Париж дался?

Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение получено.

Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому мосту, а по Елисейским полям. Для того чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком мосту во французских лавках – и накупил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали с уважением, с завистью:

– Вы все еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже.

Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и присылать ему письма для печати.

– Я буду писать решительно обо всем на свете, – твердо обещал Василий Львович.

Наконец срок отъезда назначен. Общее участие в сборах вознаградило Василья Львовича за месяц болезненных припадков.

За три дня до отъезда Иван Иванович Дмитриев, который тоже был задет за живое поездкой Василья Львовича, написал поэму: *Путешествие Н. Н. в Париж и Лондон*: «Друзья! сестрицы! я в Париже!»

Поэма тотчас разошлась по рукам, скорей, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде; они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворения, но и самые приключения Василья Львовича давали новую жизнь поэзии.

Один из юных бездельников сунул-таки новую поэму Василью Львовичу, сказав, что это – так, безделка.

Василий Львович впопыхах забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать элегию, но элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал элегий.

Тут он вспомнил о безделке, данной ему утром приятелем. С первых же строк он понял, в кого автор метит: это было воображаемое путешествие самого Василья Львовича. N. N. и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава.

Все тропки знаю булеvara,  
Все магазины новых мод...

Часть вторая его несколько огорчила: Василий Львович будто жил в Париже – в шестом этаже.

– Вот и видно, что в Париже не бывал, – сказал, усмехаясь, Василий Львович, – там и дома-то в шесть этажей не часто встретишь, а на чердаках отроду не жывал.

Затем говорилось, правда мило, и о слабостях его:

Я, например, люблю, конечно,  
Читать мои куплеты вечно, —  
Хоть слушай, хоть не слушай их...

– Куплетов не пишу, – сказал тихонько, с бледной улыбкой Василий Львович, – а элегии... или басни... как и вы, Иван Иванович.

Люблю и странным я нарядом,  
Лишь был бы в моде, щеголять...

– Как все французы, – еще тише сказал Василий Львович.

Какие фраки! панталоны!  
Всему новейшие фасоны...

– Рифма... нетрудная, – сказал, прищурясь, Василий Львович.

Кто был в этом повинен – неизвестно: но слава Василья Львовича, чем громче она становилась, тем более отдавала фанфаронством, в ней не было ничего почтенного.

Горько глядя по сторонам, Василий Львович увидел Аннушку, она умильно на него глядела, как всегда бела, мила и дородна. Он ее обнял и утешился.

– Стихотворец и всегда лицо публичное! – сказал он ей. Аннушка была на сносях.

В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его.

Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабьими слезами и лобызнула барское плечо, причем Василий Львович, уже на правах заграничного путешественника, громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василья Львовича до заставы, там распили в честь его бутылку вина, Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.

## Глава четвертая

### 1

К шести годам он был тяжел, неповоротлив, льняные кудри начали темнеть. У него была неопределенная сосредоточенность взгляда, медленность в движениях. Все игры, к которым принуждали его мать и нянька, казалось, были ему совершенно чужды. Он ронял игрушки с полным равнодушием. Детей, товарищей игр, не запоминал, по крайней мере ничем не обнаруживал радости при встречах и печали при разлучении. Казалось, он был занят каким-то тяжелым, непосильным делом, о котором не хотел или не мог рассказать окружающим. Он был молчалив. Иногда его заставляли за каким-то подобием игры: он соразмерял предметы и пространство, лежащее между ними, поднося пальцы к прищуренному глазу, что могло быть игрою геометра, а никак не светского дитяти. Откликался он нехотя, с досадою. У него появлялись дурные привычки – он ронял носовые платки, и несколько раз мать заставляла его грызущим ногтями. Впрочем, последнее он, несомненно, перенял от самой матери.

Мать подолгу смотрела на него, когда он замечал это, отводила взгляд. Дяденька Петр Абрамович был прав, он был решительно похож на деда, на Осипа Абрамыча; она не помнила отца и с детства боялась его имени; Марью Алексеевну она не спрашивала, но всем существом понимала и чувствовала: сын пошел в него – и ни в кого другого. Она стала прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял. Это было неудобно, и он начал обходиться без платка. Она стала связывать ему руки поясом, чтобы он не грыз ногтей. Неизвестно, как и откуда могли прийти опасности, проявиться дурные и странные черты у этого мальчика, похожего на своего деда. Мальчик не плакал, толстые губы его дрожали, он наблюдал за матерью.

Вообще он обещал быть дичком. Тетка Анна Львовна верхним чутьем все это почуяла. Она теперь часто бывала у них. Брат Василий был временно спасен, в Париже, приходилось спасать брата Сергея. Надине она ничего не говорила, но все кругом подмечала, все неурядки. Если к столу подавали, случалось, надтреснутый стакан, она говорила:

– Ах, стакан битый!

Когда Никита раз позабыл поставить Сергею Львовичу уксус, она сказала ему холодно:

– Принеси уксус, горчицу и все к тому принадлежащее.

Надежда Осиповна при ней нарочно роняла чашки, чтоб чем-нибудь разрядить гнев, который у нее накапливал.

Но в одном они сходились – и Аннет и Надина – Александр рос совсем не таким, как нужно: в нем не было любезности. Тетка полагала, что воспитание виновато.

– Александр, встаньте, – говорила она.

– Сашка, поблагодари отца и мать.

Сашкой звали его отец и мать, когда изображали нежность. Но тетка произносила это имя со злостью, и он не терпел, когда его так называли.

Александр вставал. Он благодарил отца и мать. Однажды, посмотрев на тетку, он вдруг улыбнулся. Тетка обомлела: улыбка дитяти была внезапна, неуместна и дерзка.

– Чему ты смеешься, что зубы скалишь? – спрашивала она с тревогой. – Ну, что смешного нашел?

– Сашка, поди вон, – приказал Сергей Львович.

Александр встал из-за стола и пошел вон.

У дверей наткнулся он на Арину. Глядя на него жалостливо, Арина сунула ему пряник и мимоходом прижала к широкой, теплой груди.

Он пробирался по родительскому дому волчонком – бочком, среди тайно враждебных ему предметов. Он был неловок, бил невероятно много посуды; так по крайней мере казалось Сергею Львовичу. Сергей Львович с тоской чувствовал ценность падающих из рук этого ребенка стаканов. Не замечая окружающих вещей и не дорожа ими, он с необыкновенной ясностью ощущал их незаменимость в момент боя. Это было главным страхом семейства Пушкиных – убыль и порча вещей. Сергей Львович приходил в отчаяние из-за пропажи какого-нибудь платочка, он изнемогал от волнения, когда не находил на месте новой французской книжечки. Без нее жизнь казалась неполной и жалкой. Он во всем винил детей. Книжечка находилась, и он равнодушно швырял ее в сторону. Вещи казались незаменимыми, гибель их неоплатной. Каждый стакан был в опасности.

Надежда Осиповна была непроторного мальчика по щекам, как была слуг, звонко и наотмашь, как все Ганнибалы. Родители склонялись над осколками. Сергей Львович пытался восстановить первоначальный вид стакана и безнадежно махал рукой: невозможно! Александр бил вдребезги. Надежда Осиповна несла свой гнев в девичью; она возвращалась тяжело дыша и с отрывистой речью, но умирная. Из девичьей доносилось осторожное, тонкое всхлипывание – побитая девка скулила.

Постепенно, не сговорясь, родители начинали глухо раздражаться, если приходилось подолгу смотреть на сына. Это был ничем не любезный ребенок, обманувший какие-то надежды, не наполнивший щебетаньем родительский дом, как это предполагал Сергей Львович.

Вскоре родился третий сын и наречен Львом.

Лев был кудрявый, веселый, круглый. Сергей Львович в первый раз почувствовал себя отцом. Он умилился и поцеловал Надежду Осиповну с чувством. Слезы текли по его лицу. Надежда Осиповна тоже полюбила сына, сразу и вдруг, без памяти. Остальные дети для нее более не существовали. Через неделю все пошло своим порядком.

Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огорчался. Дети кругом были именно детьми, во всем милом значении этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Шатобриана натчеца. Он охотно читал Шатобриана, и самолюбию его льстило, что его брак с Надеждой Осиповной всеми замечен. Но одно дело любовница, даже жена, и совсем другое дело сын. Так жадно стремиться к тому, чтобы все было как у всех достойных, – и встретить такое жестокое отовсюду непонимание! Сергей Львович втайне сам становился в тупик перед своей семейственной жизнью. В квартире – а они меняли их что ни год – он прежде всего занимал кабинет и место у камина. В кабинете стоял письменный стол в полкомнаты, на котором всегда лежал лист чистой бумаги. Сергей Львович писал там свои письма. Он смотрел в окно и останавливал всех людей, пробежавших на кухню и в людскую. Он спрашивал их, кто, куда и зачем послан. Писем он писал мало. Чистый лист лежал неделями на его столе. Глаза застилало дымкой, губы шевелились и улыбались. Сергей Львович погружался в мечтательное остроумие: он ставил в тупик воображаемых противников неожиданными эпиграммами. Грубая существенность не достигала его кабинета: домашние уважали его занятия. Порою он отмыкал ящик стола особым ключиком и доставал заветные тетради. Они были в зеленых тисненых переплетках с золотыми разводами по корешкам. Он открывал их и медленно, прищуря глаз, читал. Рука его слегка дрожала. Рисунки были исполнены тушью, розовой и красной краской, а то и чернилами, рукою опытной и смелой. Весь Пирон, Бьевриана, избранные отрывки из Дора, а потом шла безыменная мелкая сволочь Парнаса, до того прятая, что у Сергея Львовича застилало взгляд. Были и русские авторы, но Барков был груб, и до французов ему было вообще далеко. Французы и самую наготу умели делать забавной.

Надежда Осиповна, которая кочевала, как цыганка, из комнаты в комнату, то и дело меняя расположение комнат и порядок мебели, все изменяя на своем пути, не осмеливалась

нарушать его занятий. Ее жизнь, впрочем, сосредоточивалась в спальне: там она сидела, не выходя по целым дням, нечесаная и немытая, и грызла ногти, пока не было гостей. Вдруг находила на нее охота воспитывать детей. Или с месяц подряд каждый вечер изнеможенный Сергей Львович должен был вывозить жену. Потом мать снова погружалась в пустынную спальню.

Сергей Львович молодел при гостях лет на десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его. Он и жил и дышал на людях. Утром, прохаживаясь у зеркала в гостиной, он даже, случалось, мельком репетировал первый момент появления гостя: наклонял голову, легко, почти неуловимо, и тотчас откидывал назад. Александр видел, как губы отца шевелились и улыбались, а взгляд становился любезным и умным. Заметив Александра, он морщился, принимал скучный вид. Ему мешали.

Александр любил гостей. Зажигали свечи, у матери становился певучий голос. Смех ее был гортанный, как воркотня голубей весной, у голубятни. Отец сидел в креслах уверенно, не на краешке, как всегда. Он казался главою семьи, владел разговором; мать безропотно его слушала и ни в чем не возражала. Это была другая семья, другие люди, моложе и лучше, незнакомые. При гостях мать ему улыбалась, как только иногда улыбалась Левушке. В их присутствии о них рассказывали гостям длинные истории, которые он с удивлением слушал, и называли их *mon Sachka* и *mon Lolka* с нежностью, которой он боялся.

В особенности часто это случалось при Карамзине, лукавом, медленном и спокойном. Александр понимал, что Карамзин – это не то, что другие. Александра при нем забывали отсылать спать.

Истинный праздник был однажды, когда Сергея Львовича посетил какой-то сосед по нижегородскому поместью, в котором тот так и не бывал еще ни разу. Сергей Львович говорил тонко, а на все хозяйственные вопросы отвечал значительными умолчаниями – главные его поместья были, по его словам, в Псковской губернии – и выказал себя дальновидным хозяином. Дважды, скользнув взглядом по гостю и вздохнув, он упомянул о деде своем, Александре Петровиче. Неуклюжий гость был очарован и смотрел на Надежду Осиповну как на диво. Потом родители долго, посмеиваясь, вспоминали манеры простака.

Гости уезжали, мать безобразно зевала и расстегивала пояс, который все время теснил. Мебели были серые, не новые.

Но гости все реже показывались: у Пушкиных, как ни билась Марья Алексеевна, масло было гнилое, яйца тухлые. Карамзин был занят важными делами и мыслями. Сергей Львович становился ему неинтересен.

## 2

Когда случалось, что Сергей Львович почему-либо оказывался дома, он всегда сначала озирался – не ускользнуть ли? Потом мирился, надевал халат и занимал место у камина. Здесь в такие вечера он любил просматривать известия о производствах его бывших гвардейских товарищей. Один был генерал, другой командовал полком, третий состоял при Голицыне. Новое царствование открыло карьеру его товарищам. Самая мысль о службе претила ему; он считал единственно ценным дворянские вольности и приятное препровождение времени. Он всегда утверждал это – и все же огорчался.

Камин привлекал его игрой углей и теплом. Брат Василий недаром написал счастливое послание к камину. Теперь он в Париже и наслаждается не только камином и не только игрою углей. Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале. Парижские театры! Бог мой! Так ошибки приводят к счастью. Он тайно и глубоко завидовал брату, главным образом его ошибкам. У него часто спрашивали о брате, и Сергей Львович каждый раз бывал и польщен и огорчен: Василий Львович ни разу не написал брату. Москва не забывала Василья Львовича; часто и охотно воображали его фигуру на Елисейских полях, вблизи

Бонапарта или мадам Жанлис. Монфор нарисовал картину: Василий Львович стоит, разиня рот, перед востроносым Буонапартом, и шляпа, выпавшая из рук, лежит тут же на земле.

А Сергей Львович сидел перед камином, в Москве. Он читал здесь иногда роли Мольера, читал благородно, без дурных выкриков новой площадной школы. Особенно ему удавались роли Гарпагона и Тартюфа. Сергей Львович сильно передавал сожаления Гарпагона о шкатулке и тонко – благородную подлость Тартюфа.

Надежда Осиповна не любила его декламации. Может быть, ей казалось смешным актерское самолюбие мужа, а чтение наводило скуку; она любила в театре все, кроме сцены. А может быть, странным образом, во время этой декламации обнаруживались слабые стороны его характера.

Но он нашел слушателя в сыне. Он тревожным взглядом следил за Александром, когда тот появлялся у камина; потом равнодушно вздыхал и начинал тихонько напевать вздор.

Александр слушал. Отец как бы не замечал его присутствия. Тогда Александр просил отца почитать Мольера. Говорил он отрывисто. Сергей Львович непритворно изумлялся.

– Вы хотите? – говорил он неохотно. – Но у меня вовсе нет времени. Впрочем, извольте.

Самолюбие его огорчалось только тем, что сын ни разу не выразил своего одобрения или восторга; впрочем, внимание, с которым он слушал, было лестно.

Сергей Львович был чтец прекрасный, он знал это. Он живьем чувствовал Мольеров стих и всегда соблюдал цезуру; лучше же всего удавались ему Мольеровы умолчания и перерывы.

В «Школе мужей» это у него бесподобно выходило:

Il me semble.....  
Ma foi.....<sup>24</sup>

Он смотрел на кресла, где сидел слушатель, не замечая его и кланяясь, когда нужно, входящей Эльмире. Слова и пространство перед камином и даже самый сертук его приобретали необыкновенное достоинство. Когда в дверь входили, он смолкал, оскорбленный. В особенности не терпел он присутствия Марьи Алексеевны и при ней становился сух и насмешлив, цедил слова.

Кончая сцену, он присматривался к своему слушателю и оставался доволен.

– Мольер превосходно все понимал, – говорил он тоном превосходства.

Еще раз украдкой поглядев в лицо сына, он хлопал в ладоши:

– Петрушка! Снять со свеч!

Он забывал о Мольере, о сыне и возвращался к действительности.

### 3

В детскую комнату он не заглядывал, считая это для себя смешным и неудобным, ненужным. Только раз просидел он в детской час и более. Дети с интересом наблюдали за отцом, он явно от кого-то прятался. Шикнув на них, чтоб молчали, отец внимательно прислушивался к тому, что говорила мать с кем-то в гостиной. Несколько раз он хмурил брови; раз даже дернул дверную ручку, хотел выйти, но тотчас сдержался. Наконец в гостиной все стало тихо. Не обращая внимания на детей и как-то странно фыркнув, отец выскочил из детской. За все время он не сказал ни слова, как будто их вовсе не было в комнате.

Сергей Львович прятался в детской от заимодавца.

Он был брезглив; когда находил в комнате оброненную детскую вещь, двумя пальцами относил в дальний угол. Надежде Осиповне он не делал никаких замечаний, он давно отвык от

<sup>24</sup> Мне кажется.....Честное слово..... (фр.).

замечаний, не звал и Аришки, он просто ронял детскую вещь. Этих детских вещей становилось все больше.

Вскоре Сергей Львович наткнулся на неприятность, непредвиденный случай: старший сын попросил у него денег. Александр просил денег для каких-то ребячьих мизерных вздоров; постояв перед сыном и твердо решившись не давать ни копейки, Сергей Львович вдруг так живо представил эти ребячьи вздоры – мяч и проч., – что сразу же дал, и только потом огорчился. Он сделал открытие: сын подрастал. Сергей Львович с тайным беспокойством почувствовал, что сыновья предмет важный, а этому сыну еще не раз понадобятся деньги.

Однажды вечером, проходя мимо детской, Сергей Львович услышал разговор и приостановился. Говорила Аришка. Он прислушался.

Аришка сказывала старшему барчуку какую-то сказку. Говорила она неспешно, иногда прерывала рассказ, зевая, и по всему было видно, что Аришка сидит за чулком. Сергей Львович улыбнулся и послушал. Вскоре он нахмурился: рассказ няньки был бессмыслен и дурного тона. Он приоткрыл дверь. Нянька вязала чулок, а Сашка сидел на скамеечке и смотрел на нее неподвижным взглядом, полуоткрыв рот. Сергей Львович почувствовал себя уязвленным как отец и чтец Мольера.

Ничего не сказав, он удалился. Мальчик, который говорил исключительно по-французски, который, казалось, понимал уже язык Расина, заслушивался дворни.

В тот же вечер тонким, пискливым голосом он сказал Надежде Осиповне, что долее Сашку оставлять на руках у Аришки невозможно, если не хотят в нем впоследствии видеть невежду. Необходимо, чтобы за ним ходила мадама. Мадамы были необходимы; эти няньки-растрепы, с их нелепым говором, утомляли его.

Речь его была такова, что Надежда Осиповна, которая хотела было, как всегда, возразить, смолчала. Сейчас истинное достоинство познавалось в том, насколько удавалась французская тонкость. Надежда Осиповна одна из первых в Петербурге стала целоваться с женщинами в обе щеки, как истая француженка, вместо нелепых старых поклонов. Эта быстрота восхищала Сергея Львовича. Их дом не на шутку мог стать вполне французским домом: и книги французские, и новости, и язык, и Василий Львович в Париже. Сергей Львович иногда с восхищением замечал, что за целую неделю не произнес ни одного русского слова, кроме разве приказов, отдаваемых казачку: «сними нагар» и «подавай обед». По-русски разговаривал он только со слугами или когда бывал сильно чем-нибудь раздражен. Сергей Львович стал даже было Никиту учить французской грамоте, да ничего не вышло. Словом, мадама была до крайности необходима. Но добыть ее было трудно, и притом не по карману. Настоящие мадамы были в большой цене и нарасхват.

#### 4

Сергей Львович всегда был скор на решения, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли, по совету сестрицы Аннет, старушку Анну Ивановну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть и не была мадамою в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости, лепетать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплота и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках: жевала тайно сладости, утаенные за столом, во время гулянья заблудилась и потом все свалила на детей, будто бы ее бросивших. «Хороша матушка», – сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала

даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живывала. В тот же день со срамом отказали ей от места.

Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения, она была настоящей мадамой и даже могла делать чепцы по моде – это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. На детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей.

Отказала ей разом и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно: мадам Лорж удалилась.

Гувернантки не принялись в доме.

## 5

Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек, в сапогах a la Souvovov, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напомаженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались. Говорили даже, что Цырцея собиралась вернуться к своему супругу. Слух, впрочем, оказался ложным: Цырцея выходила замуж, но это его несколько не обескуражило. Он привез Аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя, чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субретку. О мадам Рекамье отзывался он небрежно:

– Стройна, но лицом нехороша.

Хвалил ее дворец:

– Стекло, стекло и стекло. Везде стекло.

Бонапарт чрезвычайно его занимал. Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом.

Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтоб показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову.

Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма декламации и в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Расина. Косое брюхо несколько мешало ему.

Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере:

– «Цивильский цирюльник» бесподобен.

Много говорил о соперничестве m-lle Жорж и m-lle Дюшенуа.

– У Жорж жестикуляция, руки! – говорил он и протягивал обе руки.

– Но у Дюшенуа – ноги, – говорил он и вздергивал панталоны, – Боже! что за ноги!

Когда вблизи не было дам – дети в счет не шли, их никто не замечал, а они всё слушали, – он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком, платочек отдавал еще парижскими запахами.

По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме – утреннем; походка его изменилась; он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее Охотного ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в Пале-Рояле. У Шевета были холодный пастет, утиная печенка из Тулузы и жирные, сочные устрицы. Знаточи шевелили губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения

не являлись. Повара своего Власа он звал отныне Блэз. На деле же он более всего любил гречневую кашу.

Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных: Карамзин, Дмитриев, Пушкин; он был героем дня – *l'homme du jour*.

Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войн и ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул:

– Бонапарт опасен! Весьма опасен! – и тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками – *ponnettes*.

Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей, но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился:

– Мой Бог! Но о войне никто не говорит! Париж есть Париж!

Такой он вольности набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье; она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда.

Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василья Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов, состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть – и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василья Львовича последние парижские романсы.

## 6

Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей, пустил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе. Цырцея провозглашена непорочною, а Василий Львович грешником, каковым и был на самом деле. Синод определил: дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а прочее время под смотрением духовного отца. Против ожидания Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы. Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василья Львовича. Главною чертою в покаянии он выставил переход Василья Львовича от блюд Блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной. Местоположение монастыря, избранного для епитимьи, было самое счастливое, и Василий Львович, проведенный в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы снял внаем у Господа Бога дачу. Вообще Москва лишней раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный.

Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужимки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величием дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде; Сергей Львович наполовину верил им. Иерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына; кухня Блэза привлекала его: басня, пущенная Алексеем Михайловичем. Но сын бывшего Пушкина рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все

эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, обедали его, опивали. О, эти vieux renards de синод!<sup>25</sup>

Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла:

– Брат!

И она приказала детям выйти вон.

## 7

У него были два брата и сестра. Братец Левушка, малютка, был любимец; сестрица Олинька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки – куколки, веерки, – она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николинька был болезненный и белесый.

Он относился к ним, как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николиньке и Левушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Левушке и во всем уступать Николиньке, как младшему; он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза.

У дома и у родителей были разные лица: одно – на людях, при гостях, другое – когда никого не было. И речи были разные – французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Nadine, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина – это было похоже на Диану, на нимфу в Юсуповом саду. Это был тот *свет*, о котором иногда говорили за столом родители и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами: ему недоставало русских слов, и наворачивались другие, французские. Когда родители были нежны друг к другу, они говорили между собою по-французски, и только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски.

Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотаньем. Ужимки их были чем-то очень милы. Гости быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гости говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкой бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.

По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали: les freluquets;<sup>26</sup> о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих freluquets; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться – и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:

– А французы-то нас бьют да бьют!

Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворянх, о почте, о деревнях и убытках.

---

<sup>25</sup> Старые лисы из синода (фр.).

<sup>26</sup> Ветрогоны (фр.).

Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил, и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем – они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился: там тоже были рисунки – большие, спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков – это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.

## 8

– Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди – и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка, и Николинька, тебе одному сна нет.

...Едем, едем – и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился:

«Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».

Он очень боялся отца – женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга – все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой – нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала – как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед – в мундире, при шпаге – пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу – старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное – и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась – вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением.

«Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».

Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.

...А что потом было... Ничего потом не было... Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел...

## 9

Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрѣхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу – водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали – все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну не леший, так домовый. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели – и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего Михайловской округи.

## 10

Их водили гулять всех вместе, табором, как говорила Марья Алексеевна, – Олиньку, Александра, Левушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «Арапчонок!» и убегали в переулочек. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.

В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо взгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:

– Что зубы скалишь?

И пошел догонять своих.

Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонок. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:

– Любимец общества!

Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом – дело было в присутствии Марьи Алексеевны, – объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более.

– И бабушка твоя – Пушкина, и мать.

Марья Алексеевна молчала.

Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно:

– Пропала!

Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовой печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.

– Там бумаги секретные, – сказал он скороговоркой и нахмурившись, – ...масонские.

Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.

Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запомнил, что запер их не в стол, а в особый шкафчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.

Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.

– Изволь посмотреть сюда – видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуются вотчина, двести четвертей или около того. А это – судебный лист; это, впрочем, не важно.

И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну:

– Твой дед эту грамотой вовсе уволен от службы, в абшид<sup>27</sup> за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное.

## 11

Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался.

Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепились и однажды решила: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суежилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, все как у людей. Звалась она чужим именем: Захарово, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми; а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит.

Никто ее и не удерживал.

Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.

## Глава пятая

### 1

В последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче – он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули.

Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело.

Стояла осень, красные, в окне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо.

В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страшным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем.

Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт.

– Истребите из сердца все досады, – сказал он ему.

---

<sup>27</sup> Отставку (от нем. Abschied).

Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начиналось в груди хрипенье, бульканье, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют.

Отдышавшись, он спросил лекаря:

– Сколько мне времени жить?

Лекарь ответил:

– Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни.

Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах. Скрип прекратился.

– Врешь, – сказал он лекарю и показал ему кулак.

Потом, оборотясь к Палашке, приказал:

– Гнать его и денег не платить. Вон!

Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом, цвета глины, с анненскою лентой через плечо, в генерал-аншефском мундире.

Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся кругом и впал в задумчивость. Несли его пять человек – старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике.

– Попарь-ка меня, – попросил он Палашку.

Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам: он храпел и кашлял. Становилось темно.

Он велел нести себя на конюшню. В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глухих загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом, убрала мягкими губами.

– В два дня! – сказал он ей о лекаре. – Дурак!

Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу.

– Для глаза, и дышать легче.

Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную.

– Девок, – приказал он Палашке.

Господский дом ярко светился и далеко был виден.

– Опять загулял, – говорили в деревне.

– Смерти на него, дьявола, нет.

Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами.

Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои – один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую.

– Машка, выходи, – захрипел он.

Маша была его первая плясунья.

Арап сидел с полужакрытыми глазами.

– Безо всего, – сказал он.

Плясала Маша без всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты все громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги.

– Эх, лебедь белая, – сказал старик.

Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их.

Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить.

– Овса сюда, бадью, – приказал он.

Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине.

– Лошадям корм задавать!

– Окна открывай!

Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом.

– Злодея на волю! Коней отпускаю!

Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно.

Со звонким ржаньем, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони.

Он засмеялся без голоса в ответ им:

– Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово – прощай.

## 2

Когда Петру Абрамовичу сказали, что братец Осип Абрамович без голоса и плох, он не пошел к нему. Вчера он видел ярко освещенные окна в Михайловском, знал, что брат гуляет, и сердился на него, что более не приглашает его на сельские пирушки. Порешив, что Осип Абрамович плох с похмелья, сказал, что не пойдет и что так обойдется. Он был не в брата, сухонький и верткий. Он обид не забывал.

Палашка, не растерявшись, сразу после лекаря, по старой памяти, отправила гонца к Устинье Ермолаевне Толстой под Псков, где она жила летом и осенью на даче.

Черною тушею лежал без памяти Осип Абрамович весь день и всю ночь, и только по свисту и хрипу Палашка понимала, что он жив. А на следующий день, против всяких ожиданий, прискакала Толстиха, Устинья Ермолаевна.

Она была уже стара, подсохла, но походка еще была та же, что двадцать лет назад. Даже ее враги не могли не признать, что у Устиньи походка хороша.

Легко сойдя со своего экипажа, она прошла в комнаты и попятилась: в комнате был содом. Кленовые листья ворохом лежали на полу, залитом вином.

– Мусор вымети, – сказала она строго Палашке. – Что затхоли развели! Что грязи нанесли!

Только когда комнату прибрали, она присела на стул у окна. Она посмотрела на умирающего осторожно и боязливо. На лиловом лбу были толстые капли и струйки пота; она отерла ему лоб платочком и нахмурилась.

С тех пор как их развел архиерей, больше двадцати лет жила Устинья Ермолаевна ни вдовою, ни мужней женою. Все старания приложила она к тому, чтобы у нее «всего было». Деньги Осипа Абрамыча она с самого начала их любви перевела на себя. Он построил ей во Пскове, по Великолуцкой дороге, покойный дом с яблонным садом, купил ей подо Псковом у Чертова ручья дачу, тоже с садом, оранжереями, цветником; подарил ей экипаж и лошадей.

Больше всего она любила золото, яблоки и сливы. У ней был золотой сервиз, а яблоки у нее были белые как кипень.

У них небось таких нет. Бездельцы! Какая глупость так распускать о людях, – говорила она о своих врагах – псковских помещиках и их женах, которые ее не принимали.

Она почитала себя невинно оклеветанною. Если бы она вышла замуж за влюбленного арапа, это было бы полным торжеством ее над псковской знатью – всеми «татаровьями» – Карамышевыми да Назимовыми, которые ее чурались, боясь ее дурного характера. Но дело кончилось ничем, и ее связь с арапом стала скандалом, как связь с каким-нибудь заезжим паясом или камердинером. Поэтому, как потерпевшая, она считала себя вправе брать с него деньги и грабить, сколько возможно.

Много раз Устинья съезжалась и разъезжалась с арапом. Последний раз они съехались пять лет назад и через месяц разъехались: Устинья вдруг заскучала по саду, а старик ей показался скучен.

Когда ей сказали, что арап кончается, она тотчас же, не думая, собралась. Были между ними еще не конченные счеты: годы тлела у нее в секретере дарственная на село Михайловское, составленная по всем правилам ее стряпчим; оставалось только внизу написать год, число и подписаться. Но в этом арап был тверд и, когда заходила речь о Михайловском, становился молчалив. Устинья Ермолаевна прихватила с собою бумагу.

С последнего разъезда осталась у него также ее шаль, которой арап ни за что не хотел отдавать, говоря, что это – память.

Палашка подала ей к завтраку печеную картошку со сливками, стакан брусничной воды, ничего больше в доме не было.

Она ела и поглядывала. Кругом была такая пустота, некрашенные полы были так бедны, потолки низки, что она сама удивилась, как из этой бедной хижины явилось ее богатство: и сад, и сервизы, и лошади. Арап умирал в дикой простоте, как, может быть, умирал его дед где-нибудь в Африке. Она сказала Палашке про шаль.

Палашка лазила по всем шкапам – шали не было. Глядя на беспорядок, в котором умирал арап, Устинья сказала Палашке брезгливо:

– Где тут шаль найдешь? Тут себя потеряешь.

Она поела, а брусничной воды не тронула:

– Горько. Разве так бруснику мочат?

Она посидела у кресел, на которых плашмя теперь лежал старый арап.

– За мной зачем посылали? Я-то здесь кто? Добро бы родная была.

– Всё не чужие, – сказала Палашка.

Она уснула Палашку.

Недовольно она посмотрела на полупустую комнату, которую десять лет опустошала. На комодке когда-то стояли часы с Кроносом, который жрет младенца: теперь часы у нее; на бюро была статуэтка фарфоровая, фавн с нимфой, – у нее; и только большие лосиные рога висели над столом, охотничье мужское украшение.

Приоткрыв толстые губы, арап отмахивался пальцами от чего-то и лепетал. Глаза у него были полуоткрыты.

– Ну, что? Что хочешь? – строго спросила она умирающего и отвела пальцы.

На ногтях была синюха; впрочем, у него всегда были синие ногти. Пальцы были длинные, на левой руке, как у вдовца, перстень с прекрасным камнем. Грань была старой работы, беседкой, камень был желтой воды, она понимала толк в камнях. Шали Палашка так и не отыскала, шаль была турецкая, с бахромой. Ей было жаль шали. Она посмотрела еще раз на перстень и залюбовалась. Потом, взяв его за руку, она стала тихо снимать перстень с пальца. Палец у арапа разбух, и перстень шел туго. Наконец она сняла его и примерила на большой палец. И

вдруг онемела: арап спокойно смотрел на нее и на перстень большими мутными глазами. Он очнулся. Потом как будто тень прошла по лицу – он словно улыбнулся и взял ее за руку.

– Дура, – сказал умирающий внятным голосом, – дура, в губы целуй.

Более в себя он не приходил.

К вечеру заявился Петр Абрамыч, сразу после того Устинья Ермолаевна уехала к себе во Псков и снова положила в ларец неподписанную дарственную, а в ночь Осип Абрамыч Аннибал, флота артиллерии капитан в отставке, скончался.

Петр Абрамыч, надев парадный мундир, хоронил брата.

Арап лежал в гробу в морском мундире времени Екатерины, черный как уголь, и попросил сказать крестьянам проповедь о святом Моисее Мурине, который также был эфиоплянин, а смолоду и разбойник; а назавтра прибыл заседатель из города и, помянув покойника вином и пирогами, послал Надежде Осиповне, так же как и Марье Алексеевне, извещение, чтобы приезжали вступать во владение селом Михайловским, понеже отец и супруг их Иосиф Абрамович внезапно волею Божией помре.

### 3

По получении известия о смерти тестя Сергей Львович принял вид серьезный, степенный и принимал знаки сочувствия, как принимают поздравления.

– *Que la volonte du ciel soit faite!*<sup>28</sup> – говорил он с достоинством.

На панихиде он мелко и часто крестился и дважды глубоко и внятно вздохнул. Сестрица Анна Львовна, обняв Надежду Осиповну, всхлипнула было, но это принято было самым холодным образом.

Усадьба и имущество покойного арапа, а если таковые окажутся, и деньги, принадлежали теперь жене и дочери. Марья Алексеевна, у которой была теперь своя усадьба, не захотела ехать на старое пепелище, откуда бежал от нее некогда муж, и предоставила распоряжаться Надежде Осиповне. Нужно было войти во владение, а для этого нужна была мужская помощь. Сергей Львович, однако же, не изъявил желаний поехать принимать тестевы владения, ссылаясь на военное время и нежелание начальника отпускать его. Отпуск мог повредить его карьере.

Надежда Осиповна, самовольно распоряжавшаяся в стенах своего дома, вне его была на редкость бестолкова и даже пуглива. В конце месяца она выехала в село Михайловское, а Сергей Львович остался дома, пообещавшись, как только обстоятельства дозволят, выехать вслед за нею.

Только когда закрылась дверь, Сергей Львович почувствовал счастье: получив наследство, он внезапно оказался на свободе самое малое на месяц. В тот же вечер он исчез со двора.

Время было военное, и везде были перевороты. Вся Москва была в каком-то волнении, и все было неверно. По реляциям, государь бил французов, а вестовщики говорили, что, напротив, «французы утюжат нас». В комиссариатском штате все ходили как ошалелые; много ездили, пили, играли в карты. Воодушевление было общее, к дому главнокомандующего ездили узнавать новые рескрипты, и мнение о Бонапарте как о безумце было вдруг всеми принято. Василий Львович перестал заказывать своему Блэзу французские блюда. Вообще чувствовалось общее потрясение.

Бледный и нахмуренный сидел Сергей Львович за зеленым столом в два часа ночи и спускал в рокамболь вторую сотню. Руки его дрожали, и будущность представлялась потерянной.

В том, что все откроется и Надежда Осиповна узнает, Сергей Львович не сомневался, но не хотел думать об этом. Вначале он просто сговорился провести время со старыми прия-

---

<sup>28</sup> Да свершится воля неба! (фр.)

телями, затем затеялся рокамболь, и вот с самого начала он как нарочно проигрался, дрожа от нетерпения, в пух. Несчастные талии следовали одна за другой.

В четыре часа он был в проигрыше и писал заемные письма: «Обязуюсь уплатить сто – двести – пятьсот рублей. Число. Месяц. Год. Сергей Пушкин». Малодушие его было таково, что он готов был плакать. В пять часов он вернул все и даже остался в выигрыше. Силы покинули его. В совершенной слабости он пил воду. Вся прошлая жизнь, жизнь отца семейства и покорного мужа, исчезла в одно мгновение. Вся прошлая жизнь была проигрыш, а теперешняя выигрыш. В течение часа душевные силы его заметно восстановились. Он решил, что не будет более играть, а в случае если проиграется, будет проситься на поля сражений. Надежда Осиповна для военного была не так страшна.

Наслаждаясь новой свободой, он позволил приятелям, после короткой заминки, отвезти себя поутру согреться в известный дом на окраине – к Панкратьевне. Панкратьевна, толстая старуха, держала за Москва-рекой дом с толстыми девками, жирными щами и славилась своею первобытной простотой.

– Масло, – говорили об ее питомицах московские знатоки и жмурили глаз.

Сергей Львович произвел на Панкратьевну самое отрадное впечатление своею вежливостью и ел славные щи с истинным аппетитом.

Пробыв у нее в гостях до полудня, Сергей Львович нашел себя. Открылось, что он создан для приятной жизни, а не для каких-либо дел или семьи. От выигрыша даже осталось несколько; деньги он пересчитал и отложил на счастье в кошелек, решив не тратить. С необыкновенным спокойствием и важностью он вернулся к себе домой. Об обещании приехать, данном Надежде Осиповне, он старался не думать: самое сильное отвращение было у него к разного рода описям, вводам во владение и проч. С детьми возилась теперь Арина, и с этой стороны ничто не беспокоило его.

Грушка у Панкратьевны пришлась ему по нраву. По утрам он ездил с визитами, и ему бывали рады: если кто не принимал на Поварской, он тотчас сворачивал на Тверскую; обедал там, где вся Москва обедала, – у старух и стариков, а вечером тянуло его к Панкратьевне. Являлись юные негодяи и увозили его. Теперь ему никто не мешал.

#### 4

Мать была где-то далеко, в поместье черного деда, о котором родители не говорили, но многое смутно напоминало; он привык к любопытству мальчишек и прохожих. Лицо его было смуглое, волосы светлые и вились.

Ему говорили, что дед умер; теперь он умер вторично. Судьба этого темного деда чрезвычайно его занимала. Теперь у них было поместье, о котором отец сказал, что там прекрасное озеро. Мать была угрюма; она уехала, расцеловав маленьких в щеки, а его – в голову. И теперь он был на свободе.

По утрам он иногда видел виноватую фигуру отца; отец возвращался откуда-то и быстро семеня к себе в кабинет. Он прекрасно знал его походку – так отец являлся домой, когда боялся матери. К вечеру отец исчезал. Случалось, что кабинет пустовал и день и два. В кабинете он научился распоряжаться, как в захваченном вражеском лагере. Он перечел много книг, лежавших в беспорядке на окнах. Это были анекдоты, быстрые и отрывистые. Он узнал об изменах, об острых ответах королей, о римских полководцах, о славных женщинах, которые умели прятать любовников; перелистал словарь римских куртизанок; более всех ему понравилась ловкая Лаиса, подруга жирного Аристиппа; прочел о людях, которые, умирая на плахе, делали острые замечания.

Он читал отрывисто и быстро, без разбора. Его очень занял портрет Вольтера: полуобезьянья голова старика с длинными, вытянутыми вперед губами, в ночном белом колпаке. Это был мудрец, поэт и шалун; он смеялся над королем Фредериком и всю жизнь хитрил.

Очень ему понравился также рассказ в стихах о том, как две благочестивые старушки, вернувшись домой и улегшись на постель, нашли там дюжего молодца и подрались друг с другом. Благочестивые старушки, ханжи, девотки, напоминали тетушку Анну Львовну, а мать с гостями жеманничала, как мадам Дезульер.

Стихи нравились ему более, чем все другое, в них рифма была как бы доказательством истинности происшествия. Он читал быстро, выбирая глазами концы стихов и кусая в совершенном самозабвении кончики смуглых пальцев. При каком-нибудь шуме он ловко ставил книжку на место и, вытянув шею, приготовлялся к неожиданности. Вообще осенью этого года он вдруг переменялся. Исчезла медленная походка увальня; медленный и как бы всегда вопрошающий взгляд стал быстрым и живым. Ему было семь лет.

Наконец он добрался по лесенке до самой верхней полки в кабинете. На верхней полке стояли маленькие книжки в кожаных переплетах. Он стал читать их, и новый мир перед ним открылся. У каждой женщины были милые тайны; все разнообразно обманывали друг друга; подружки притворно гнали пастушков; вельможи давали забавные ответы; фавны гонялись за нимфами с какой-то сладкой и неясной целью; наездники до изнеможения объезжали горячих кобылиц; охотники убивали таинственную дичь наповал; садовник сажал розан в корзинку Аннеты; шел насмешливый счет ночным победам – одна, и две, и три победы были смешны – их должно было быть без счета. Все между тем изнемогали от томления – всюду шел бой, а о женщине говорили, как о незнакомой стране, которую предстояло открыть, с холмами, лесами, горами, гротами, прохладной тенью. Дыханье у него захватило. Он подозревал чудеса.

Теперь, когда мать уехала, движенья его стали вдруг свободны и быстры.

Ему ничего не стоило без усилия и разбега вспрыгнуть на стол, перескочить через кресло, не опрокидывая. Ему не сиделось на одном месте, неожиданно для самого себя он вскакивал и ронял книгу, менял место. Он играл в мяч на дворе с мальчишками и верно находил цель взглядом и мышцами всего тела.

Почти весь день проводил он в девичьей. Арина вначале на него ворчала, но вскоре перестала. Девушки привыкли к нему, здоровались с ним нараспев, смеялись при нем и фыркали, говоря о Никите и поваре Николашке. Они пели долгие, протяжные песни, и лица их становились серьезными. Заметив, что песни ему понравились, они всякий раз, когда он приходил, пели ему. Так они спели песню про белы снеги, про березу, про синицу.

Раз, когда Арины не было, самая быстрая из них, Татьяна, на бегу вдруг обняла его и стала тормошить. Девки завизжали, засмеялись, но, когда вошла Арина, сразу замолчали. Татьянка покраснелась, Арина сурово ей сказала:

– Ужо тебе, Танька! Барыне скажу!

Как-то ему не спалось, и он попросил Арину, чтоб Татьяна спела ему. Арина была обижена, что Танькины песни ему больше нравятся, чем ее сказки, но с сердцем, ворча, привела сонную Татьяну, босую и простоволосую. Таня запела над ним протяжно, без слов, и, глядя, как она, полусонная, с открытой грудью, дышит и позевывает, он закрыл глаза и уснул.

Жизнь его стала вдруг полна.

Баловень Левушка хныкал без матери; Олинька, во всем похожая на тетку Анну Львовну, по нескольку раз в день заглядывала в комнаты отца – здесь ли. Востроносый Николинька льнул к Арине, зарываясь носом в ее подол.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.